ПАМЯТИ НИКОЛАЯ ГРЯКАЛОВА



18 июля 2014 года скоропостижно скончался Николай Алексеевич Грякалов, философ, социальный антрополог, старший преподаватель кафедры философии науки и техники философского факультета Санкт-Петербургского государственного университета.

Николай Алексеевич родился 15 сентября 1978 года в г. Ленинграде. В 1995 году поступил на философский факультет СПбГУ и в 2000 году с отличием его окончил, специализируясь по кафедре социальной философии и философии истории. Пройдя обучение в аспирантуре, защитил кандидатскую диссертацию «Террор: социально-философский анализ» (научный руководитель Н. Б. Иванов). С сентября 2003 года стал работать на кафедре философии науки и техники. В 2010—2012 годах — докторант кафедры философской антропологии, где подготовил докторскую диссертацию «Социальная антропология

бытия». Автор более 40 научных статей (некоторые из них — в зарубежных изданиях), монографии «Фигуры террора» (СПб.: Изд-во СПбГУ, 2007), посвященной социальной антропологии насилия. Лауреат премии Санкт-Петербургского Философского общества «Вторая навигация» в номинации «Философский дебют» (2007).

Сфера научных интересов: новоевропейская научная революция, практики признания истины, экзистенциальная аналитика чувственности, история «техник тела», философская христология. Наиболее значимые публикации последних лет: «Советское. Заметки об ориентации», «О божественной баллистике», «Теория кукол (лабиринт Платона)», «Волшба вещей: фетиши».

В СПбГУ читал авторские курсы лекций по философии языка, истории и философии науки, социальной аналитике чувственности, философским аспектам антропосоциогенеза. Автор спецкурса «Историческая эпистемология наук о человеке». Совместно с А. М. Положенцевым вел семинар по антропологии науки, отдельные темы которого нашли отражение в статьях «Lumen naturalis, механик и техническая изнанка теории», «Теологические аспекты генеалогии новоевропейской науки», «Номос аппаратов». Участник многих международных научных форумов, телепередач, художественных акций... Завершил работу над монографией «Жребии человеческого. Очерк тотальной антропологии».

* * *

Чтобы воздух вдруг оцепенел и *все на свете* вмиг опрокинулось, пропало, мысль твоя должна быть страшной. Страшной и простой.

Но чтобы и самой ей втуне не пропасть и предстать собою — словом, зовом в ясном небе, а не только *громом*, в ней придется распознать — сквозь полноту земного вопиющего безмолвия — свое *собственное имя*. Распознать впервые и навек — как откровение, как исповедь самих вещей. Иначе зря она тебя звала. И зря содрогание свое ты зовешь «мышлением».

Теперь нам с этой мыслью жить: Коли больше нет.

Божьей милостью открытая душа, с вечностью знакомая не понаслышке, в звездный бисер над крылом — с *гераклитовским огнем* играющая, — светозарная, ранимая, родная.

Сердце верное, нежнее нежного, добротою простоту, а простотою чистоту свою и этос *сущего как такового* знаменующее.

Буйна голова ясная, как будто созданная для того, чтобы *постоять* на ней в глазах ошеломленного рассудка — не по-гомеровски всерьез поломать ее над

тем, как в сущем сказывается небывалое, а в небывалом — неизбывное, и какие очевиднейшие вещи, притом важнейшие, лучшие из всех, иначе никогда не явились бы на этот свет — не явились бы, во всяком случае, иначе, чем в заунывно-непроглядном виде «океана неизведанного», который на глазах у какого-нибудь Канта-Ремизова, коренного касталийского критянина, — «Как сие возможно?» — бодро бороздит-из-пушек-по-своим-палит непотопляемый «корабль дураков».

Молодецкий дух выспренний и вольный, гоняющий со свистом всех амфисбен трансцендентальной апперцепции и василисков крепкого заднего ума — возможно, просто с тем, чтобы никто не сомневался, что в автохтонном бестиарии просвещенного сознания по-прежнему кипит жизнь, о которой даже не подозревают ее анонимные творцы — записные сокрушители бэконовских «идолов», безответных, равнодушных и вовсе ничего, естественно, не «подозревающих». Так что надо понимать, почему метафизику свою он называл антропологией и почему ее объектом оказался совсем не тот призрачный субъект, с которым, глядя в зеркало, мы привыкли себя отождествлять. Явись такой во сне — от ужаса проснешься и уже за одно за это, за чудесное свое спасение, за этот свет и даже за свой пот холодный всех святых возблагодаришь. А повстречаешься с таким субъектом наяву — понадобится вся сила и ума, и духа, чтобы, напротив, не солгать себе его человеческим обличьем и не уснуть под музыку романа с собственной персоной, пеняя на судьбу, на «зеркала» и проклиная всех заблудших.

Впрочем, физическая сила в таком деле тоже может пригодиться: если понимаешь, с кем играешь, передвигая по аподиктической доске фигуры ужаca — terror'a, — надо понимать и то, что это вовсе не игра, ни для него, ни для тебя, и что твоею плотью, кровью оплачен всякий его вздох. А Коле было силушки не занимать. Не великан, но всем телом ладен — мужскою статью вышел: герои древнего панкратиона — Пифагор с Платоном могли бы позавидовать. Уже одним видом — одним эйдосом своим он любому поединщику внушал трепет. Ему бы на медведя с рогатиной ходить, но этот — нет: вразвалочку, то ли медвежонком несмышленым, то ли моряком бывалым по коридорам власти над умами ходит и, посмеиваясь в бородку, совсем другую дичь высматривает, которая здесь правит свой чиновный комформистский бал и к которой не то чтобы с рогатиной — с бомбой не подступишься: раздавит, ее лишь голыми руками, то есть чистым разумом одолеть можно, а возьмешь в подручные какой-нибудь «новый органон» — или старый «фармакон», или деконструктивистский «молот» — тут же сам в нее и обратишься, сам супостатом-симулякром сделаешься.

Словом, все в нем Божьей милостью, поэтому и настоящее. Поэтому и весь он настоящий: и сын, и муж, и друг, и ученик, и мастер. И потому единственно, что всюду настоящий, неподдельный, он еще при жизни сделался легендой, высоким мифом питерской университетской жизни рубежа тысячелетий: лицедей-затворник, баловень судьбы суровой, трудоголик праздный, расстрига-неофил ученый, мистический физикалист, пост-модернист дремучий, анархист-фундаменталист отпетый, песнопевец-правдоруб заумный, душа компании веселой — раззудись-плечо-размахнись-рука косарь чиста поля философского... Всюду невозможный. Навсегда подлинный...

Сквозь все — и жизнь, и смерть, — тянется немая нить, опоясывая белый свет. В ее начале — начало всех начал. В ее конце — выход из пещеры Минотавра. Не за горами и гробами. Где-то тут — в твоей руке. Иначе бы никто на свет не вышел. Иначе бы и света никакого не было! — Где-то тут — в теплоте твоей руки, брат мой Николай Грякалов.

Н. Б. Иванов

* * *

Мы — разговор, по признанию поэта. Вступая в разговор, как в жизнь, которую нужно прожить, как в судьбу, мы обмениваемся чем-то большим, чем просто словами. Хотя и слова, если они чего-то стоят и у них есть вес, — уже совсем немало. Всякий разговор имеет начало, но есть ли у него завершение? Точнее спросить, может ли разговор продолжаться, даже если в мире он неожиданно прекратился, если он бесповоротно прерван обернувшимся к его событийной полноте наиболее безжалостным ликом судьбы? После того, как скоропостижно ушел из жизни Николай Грякалов, настоящий философ, настоящий друг, я ищу, и пока не нахожу ответов на эти вопросы. Николай родился и вырос в семье известных ученых-гуманитариев, и, казалось бы, ему сам бог велел вступить в выпавший удел и легко пройти по проторенной дорожке. Однако у меня за более чем 15-летнюю нашу дружбу всегда создавалось впечатление, что, избрав делом своей жизни и мысли философию, он шел скорее вопреки наиболее легкому пути в профессии, испытывая вещи, в том числе институциональные, на прочность, ценя больше всего как раз те из них, которые имеют ответное сопротивление, и трудился душой, которая это сопротивление преодолевает.

Тоска современной философии по утраченной непрерывности — это не про Николая. Характерное свойство его мысли отмечено даже не столько движением в сторону возобновления утраченной непрерывности (хотя увлеченные

занятия архаикой и могли бы стать тому подтверждением), сколько умением синтезировать в собственном поле души абсолютное единство жизненной линии, в которой не остается никаких прерывов при переходе от модусов существования к модусам мышления, и наоборот. Меньше всего думать о сути вещей означало для Николая — ставить самые, как считается, фундаментальные философские вопросы, подобно вопросу о бытии, замирая при этом в статуарной неподвижности, как если бы за этой позой действительно скрывалось созерцание вечных истин. Приближение к сути вещей происходило иным образом — через бесстрашное развертывание себя в мир, через включение в мысль собственного тела, создающего или открывающего в кинестетическом режиме ту месторазмерность живой, пульсирующей действительности, где мысль только и могла найти себе подобающее место, то есть предстать практически воочию. Засвидетельствовать пафос, обращенный к сути вещей, можно не только предъявлением своего стиля мышления, в котором эти вещи приобретают уникальные личностные черты, но и образом самой жизни, со всеми ее рисками, непредсказуемыми поворотами и внезапными коловращениями.

Впрочем, возобновление непрерывности в собственном поле души не дается влегкую или просто так. Оно требует для начала некоего отказа от обыкновенной вовлеченности в круг ближайшего, в его бесконечное мельтешение, и удержание себя, даже в случае, если попадаешь в центр этого круга, в дистанционно удаленной, вынесенной вовне точке, — скажем, точке рефлексии, точке сознания, работающего на высоких скоростях. Николай обладал необычайно высокой плотностью мыслящей речи, способностью ее мгновенной мобилизации, но одновременно и концентрированным вниманием к речи собеседника. А поскольку ко всему прочему у него была великолепная память, общение, несмотря на то, что по факту оно не было и не могло быть непрерывным, всегда оказывалось таковым по сути. Каждый раз, по прошествии определенного времени, разговор представал как естественным образом продолжающееся обдумывание каких-то прежних тем, не прерывавшееся ни на минуту. Хотя понятно, что ничего «естественного» в этом нет, — таков опыт, который можно получить, только когда сталкиваешься с подлинным усилием мысли, по отношению к которому испытываешь смешанное чувство удивления и благодарности. Теперь, когда Николая нет, эти непрерывные линии превратились в царапины и раны, которые несешь в себе, но и в странное ощущения того, что разговор, которым, согласно поэту, мы являемся, еще не завершен, что он продолжается, что он и не должен завершаться.

Д. У. Орлов

* * *

Итог уходящего года: Крым стал российским, Философский факультет — теперь Институт философии, вместо «Окопа» в Тучковом переулке открылось кафе «Дуня». Все это объединяется вот чем: какова бы ни была здесь твоя собственная позиция, противоположную точку зрения все-таки понять можно, пусть и не принимая. Совсем иное дело — смерть Николая Грякалова, смерть Философа: здесь возможно лишь одно правильное решение, у кого на этот счет есть «другое мнение» — с тем все понятно, и потому «понимать» тут нечего.

«В последний раз, когда мы виделись...»: этого дежурного оборота не избежать, его избитость — лучший знак абсурдности события (аналогично тому, как постыдная безликость новостройки — идеальный памятник старому питерскому дому, чей капремонт оказался «нерентабелен»); итак, еще раз: в последний раз, когда мы виделись — а было это в РХГА, на презентации книги «Сила простых вещей», куда вошла Колина волшебная «Волшба вещей», ранее опубликованная в EINAI, — так вот, там мы, вообще-то говоря, не сказали друг другу ничего нового, ведь «новое» — не наш хлеб. Ну, разве что, спросил я его о докторантуре, на что получил единственно возможный ответ: «Саша, ну ты же знаешь, я фетишист, мне просто нравится слово — доктор». Вспомнилось, что лет десять назад он точно так же улыбался, говоря о звании мастера спорта. Потом, конечно, была еще пара-тройка фраз, и предложение, его или мое, «помериться фетишами» (я тогда победил: к его изумлению, моя мобила оказалась еще дешевле и беспонтовей)...

«Фетиш, — пишет Николай Грякалов — останавливает тотальную имитацию, производит членораздельность сущего в реальном времени антропогенеза, выполняет функции, аналогичные эйдосам в поле умозрения: внести определенность туда, где ее раньше не было, и обеспечить ориентацию — вменяемость в отношении действительно-сущих вещей. Эйдетика делает мир членораздельным, справляется с его "крутоногонерасчлененнорукостью" и отливает в формы "инцестуозные и каннибалические" смеси глубин». С этим, что называется, не поспоришь — как и со следующим: «И если трагическая "амартия" есть непопадание в цель, то смерть есть собственно "сшибка" как истина присутствия, равная полному погружению субъекта в фетиш. Поэтому "Каллисфен мог как угодно льстить Александру, но умер, чтобы не отвешивать ему земного поклона, то есть не погрешить против осанки"».

Вспомним в этой связи то, что в задачи фетиша должна быть включена не только протоисторическая связь яростных энергий мира, грозящих растождествлением нашей «самости» (Николай Грякалов указывает, что изначально фетиш — это что-то вроде «ремешка разума» из «Саг об исландцах», которым

меч привязывали к ножнам, приходя на тинг: «сдержанность» как материальное устройство для предупреждения «тоннельных эффектов» ярости»), но еще и постисторическое желание — желание не столько экранировать, сколько вытащить на свет божий и хорошенько отпраздновать пресловутую «нехватку в Другом». Вспомним также «дендистскую» линию Бодлера — Беньямина — Агамбена: в царстве тотального отчуждения, каким являет себя капиталистический мир товара, следует без остатка перевести в фетиш себя самого. Стать фетишем, чтобы не быть фетишистом. Сегодня, когда Коли больше нет, с какой-то особенной ясностью ощущаешь, что порвался этот самый «ремешок разума» (как будто его и не было!), но только не первобытная ярость сынов Одина захлестнула пространство тинга, а вполне себе респектабельная (что отнюдь не противоречит ее специфической «крутоногонерасчлененнорукости», или попросту — непристойности) деловитость «докторов-не-только-потому-чтонравится-слово» заполнила собой жизненное пространство друзей мудрости (насколько эта деловитость носит «инцестуозный и каннибалический» характер, обсудим в другой раз).

Так что если «в психотическом мире буква закона *и есть* его дух», то в мире извращения дух обернулся душком. Вот почему хочется теперь уже поспорить со следующим утверждением из «Волшбы»: «Психоаналитик нормализует фетиш, превращая его в некую "характерность" и принуждая пациента "оречевить свой симптом" — однако подлинная нудительность фетишей жива как раз тогда, когда она разрывает категорию особенного и превращается в "целое" мироотношения, в тотальный феномен — как в индейском *потлаче*, меланезийской куле, в крестовых походах и поисках Грааля». Ведь как антропологу, Николаю Грякалову известно, что наша эпоха зациклена на прибавочной стоимости, которую предписано извлекать из любой деятельности, от экономики до эротики (с ее культом оргазма и «дето-синтеза»), — и что именно это и есть эпоха «человеческого, слишком человеческого». То, что фетишизм как *некая* «особенность» есть условие возможности функционирования жизни в режиме «серьезности», «эффективности», «прибыльности», — очевидно (чтобы не ходить далеко: «наукометрия» как инструмент извлечения «прибавочного наслаждения» в академическом пространстве); но достаточно ли для того, чтобы перейти к плану тотальности, исключительно внешним образом противопоставить некой неподлинной «характерности» — (уже разве не некий?) подлинный «характер»? Психоанализ же, будучи терапией при данных исторических условиях, предоставил нам детальное описание процесса «нормализации», т. е. редукции духа к «душку», в этом-то и состоит его ценность (вспомним, что теориям Прудона Маркс предпочитал «здоровый цинизм» учения Рикардо).



Далее: можно ли учредить фетиш (как принцип связи мировых сил) по ту сторону опоры на любой «особенный» (а, следовательно, фантазматический) «сюжет»? Без того, чтобы разыграть его против «другого» фетиша, против фетиша «Другого»? Ведь когда Платон упреждает созерцание самих вещей разглядыванием их отражений в воде, он заботится не о здоровье субъекта, но об истинности того, что, предположительно, заявляет о себе как о «самой вещи»: так, кула есть истина именно гимвали, а не «вообще истина». Наконец, относительно Человека-Волка: «Вытесняется не личная травма: вытеснению — с помощью психоанализа — подвергается индоевропейский шаманский грунт и инспирируемый им опыт становления-животным»; только разве не это вытеснение-психоанализом вновь делает человека «интересным животным»? Душок, но как последняя загадка духа... — Эти вопросы возникают в связи с тем, что наш интерес к архаике носит не антикварный характер: если к ней обращаются, то во имя будущего. И если Иван Иванович однажды не «оречевит» свой симптом («Гусак»), Тарас Бульба никогда не покинет пределы романтического прошлого.

...Когда-то давно (еще одно мемориальное клише) мы с Колей так шутили о будущей старости: студенты, конечно, будут потешаться над нашим ископаемым делезианством — точно так же, как мы сегодня смеемся над кое-как перелицованным марксизмом-ленинизмом наших «старцев». Однако вышло наоборот: все то, над чем мы смеялись, по-прежнему живо, более того, теперь оно, умело вступив в выгодные альянсы и окончательно перестав комплексовать перед всяким там «постмодернизмом», выглядит еще живее прежнего — а вот того, кто обладал секретом как никто другой «вольно и весело» пребывать в «плане имманенции» — Николая Грякалова, Мастера и Доктора — больше нет среди числящихся живыми. Мне кажется, он «полностью погрузился в фетиш» — тот самый «ремешок разума», который как может — умом и смехом, без злобы, но не без ярости — сдерживает рвущуюся, как это было всегда, к власти серость и пошлость. Вот он, смотрите, курит в факультетской галерее, и белая полоска «Ока и духа» торчит из нагрудного кармана куртки. Так и не погрешил против осанки.

А. А. Погребняк

k * *

Теперь очевидно, что, несмотря на множество увлечений, Николай был цельной личностью, в которой все было подчинено достижению главной цели. Чем бы он ни занимался (помимо научной работы): читал роман, смотрел фильм, ходил на выставку, общался с другом — он был занят одним делом, познанием. Я хочу рассказать о том, как Николай умел и любил работать, работать «по-ученому», с полной отдачей, зная, что вот это и есть наиважнейшее, и заражал своим пафосом других.

После приобретения весьма специфических навыков работы с реальностью на кафедре социальной философии, волею судьбы мы с Николаем, почти в один год, оказались на кафедре философии науки. Здесь мы на почве поиска философии в науке сблизились. Сближение это вылилось в совместный семинар, который мы окрестили «Антропология науки». На протяжении трехчетырех лет дважды в месяц нами ставилась для философского осмысления тема или задача, в которой наука представала в непривычном свете. Эта непривычность ее, эта из-умительность была онтологическим принципом отбора материалов. Торные пути методически не рассматривались. Разве что для того только, чтобы представить их самих в качестве предмета антропологии науки. На науку мы смотрели как на изобретение дьявола, как на средство, которым разум скрывал от себя собственную несостоятельность в вопросах познания истины, как на трансцендентальный наркотик, как на социальную ловушку для профанов... И она стала проявлять свой истинный облик. Наука стала лишаться своей незыблемости, доверия, основательности. Но зато стала показывать свою робкую подлинность.

Это был важный для нас опыт философствования. Нам нужно было быть мудрыми как змеи и кроткими как голуби, чтобы не доверять притязаниям на «методологическое прояснение» науки, чтобы сохранять долю иронии в отношении заверений, будто философия науки должна стать метанаукой, наукой науки, но и не потерять важности и серьезности притязаний всей интеллектуальной жизни выразиться в научной форме... В общем, нам было важно самим не стать при этом учеными.

Материал распределился по нескольким большим разделам. Первый назывался «трансцендентально-феноменологическим». Наука как способ отношения к жизни, обладающий собственным стилем, прагматикой, этикой и политикой требовал описания, весьма отличного от того, что давала традиционная философия науки, относящаяся к научному мышлению как к явлению абсолютного порядка. Но для Николая эта абсолютность требовала культурного, исторического



и антропологического объяснения. Так появлялись следующие разделы: история науки как ее генеалогия; культурная антропология науки (почему все-таки новоевропейская наука, а не китайская, индийская, восточная; да и были ли там науки в подлинном смысле слова?); религиозная антропология (мы всегда пытаемся забыть о христианском истоке научной формы мышления); и экзистенциальная антропология, которая должна была показать, как наука работает с самим своим создателем, что она творит с бытием человека, во что превращает его прошлое, настоящее и будущее, какие цели ставит его бытию и от каких заставляет отказываться. По сути, эта часть и стала самым важным содержанием семинара. Здесь решались вопросы о трансформации субъекта, его телесных практик, его символической анатомии, об измененных состояниях сознания, его связях с новыми типами реальности, его протезах, об отчуждении чувственности, телесности, интеллекта, нравственности и, как итог, самосознания. Обнаружилось, что наука была занята не только «познанием истин», но и основанием новой религиозности и подготовкой подлинного, а не мифологического конца света.

Эта работа была похожа на детективное расследование. То есть я хочу сказать, что это было настоящим научным расследованием. Николай умел снимать рамки и табу на исследование. Для него не было методологических запретов на вход на чужие, не философские территории. Социальная антропология, прачистория, практики власти, формы коммуникации с сакральными объектами, патристическая антропология — мозаика складывалась из порой несовместимых стихий. Две-три недели уходили на подготовку первого, «чернового» семинара. Каждый сплетал из добытого материала свою веревочку, а затем эти материалы включались в более широкие контексты, происходило манипулирование концепциями, данные перекликались с предыдущими и последующими темами, разработка которых порой даже не предполагалась в изначальных планах. Это было живое исследование, расследование какого-то тысячелетнего запутанного преступления и одновременно благодеяния, напрямую связанного с использованием одного-единственного дара, который в итоге и стал самим человеком.

Николай любил повторять, что он не метафизик, а антрополог. Конечно, он немного лукавил, ровно в той мере, в какой позволял себе иронизировать в отношении традиционных метафизических или феноменологических тем, которыми мы часто занимались, в общем-то, пытаясь повторить чужую мысль («Sein-Dasein»). Николай использовал иной метод, за что и называл себя антропологом: элементы и концепты социальной антропологии помещались в трансцендентальное поле, приобретали иную, философскую жизнь и значение, входили во взаимосвязи с метафизическими понятиями. Антропологические данные

исследовались за гранью эмпирического опыта, становились трансцендентальными предпосылками, определяющими дальнейшую жизнь разума, воплощенного в человеке.

Эти многочасовые расследования записывались на магнитофон, затем расшифровывались, обрабатывались, приобретали литературную форму, которая обычно ужимала часть стоявшего за ними смысла, затем дополнялись, порождали новые темы расследования, сопрягались с другими темами, связать которые, казалось, уже нет сил. Тогда мы решили остановиться, чтобы не похоронить накопленные материалы в хаосе черновиков. И здесь семинар столкнулся с главным препятствием, связанным с характером его автора: в условиях, когда каждый прожитый день должен быть практикой признания истины, остановка недопустима. Мысль порождена, изречена и не должна останавливаться. А приведение всех материалов в книгу требовало остановки мысли. Николай не мог себе этого позволить, развитие мысли требовало отрешенности от других целей. Мы все надеялись, что кто-то возьмет на себя эту часть работы, и проект застопорился на несколько лет. Но вот, больше надеяться не на кого. Бытие поставило точку.

А. М. Положенцев